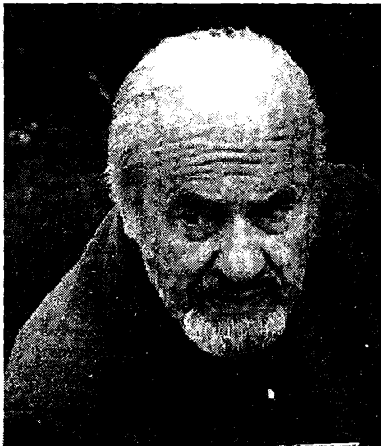


Глеб Горышин

ВОЗДУХ ШИБКО ХОРОШИЙ

Рассказ

Рис. Б. Федорова



Умер Глеб Александрович Горышин, наш автор, наш земляк, наш зарищ и друг. Это очень бол... большим писателем и большим талантливым человеком и другом. Когда бывало трудно, вдруг приходило от него письмо, когда бывало очень трудно, он каким-то непостижимым образом чувствовал это и заявлялся в Новгород. Он подавал свою теплую, всегда сухую ладонь и говорил, улыбаясь: — Что-то мы давно с тобой к Ленькину не ездили. Не поехать ли нам?... И мы ехали к Ленькину, в лес, на Святое озеро, на Шелонь. Под его мудрым спокойным взглядом твои трудности неожиданно мельчали, а то и вовсе отступали. Он был вечным бродягой, исколесил Алтай, Карелию, любил ездить на Валдай, где были его родовые корни, в Старую Руссу. Его учителем и другом был Юрий Казаков, он дружил с Виктором Курочкиным и Василием Беловым, Александром Панченко и Дмитрием Балашовым. Художническое зрение его было устроено так, что ему ничего не нужно было выдумывать, все, что он видел, сразу же становилось литературой. Потому что он ею и только ею жил. Прощай, друг! Вечная тебе память!

В автобусе Новгород — Старая Русса — Холм доезжаю до Чекунова, высаживаю семью, вытряхиваю манатки. По затравевшей насыпи когда-то бывшей здесь лесовозной узкоколейки чапаем до берега Ловати. Жарища, оводы жалят и вдруг — экое благо! Вода в Ловати (в среднем течении) прохладная, чистая; река глубокая, спокойная, дно песчаное. Поплаваем, поныряем — и далее бережком, до деревни Березово, там ждет купленная мною (купчая оформлена в сельсовете) моя изба. Деревня настолько неперспективная, что председатель сельсовета отнесся к моей покупке, как если бы я купил воз дров.

Идем не торопясь, через час пути сворачиваем к уединенно стоящей среди кленов и лип избе. Раньше здесь было село Раково, осталась одна изба. На двери ее вдет в щеколду замок, но мы уже знаем: замок не заперт. Хозяин не запирает избу, понимая, что ежели кому надо в ней побывать, для того замок не помеха. Где хозяин? Да на реке. Где ж ему быть? От избы к Ловати протоптана стежка во ржи. Рожь в человеческий рост (выше среднего), наливая, усастая, колосистая! Пора ее жать. Против избы Ивана Карповича Карпова (так зовут хозяина единственной избы в бывшей деревне Раково) стоит комбайн, ужо приступят к уборке...

На берегу из травы торчит удочка. Иван Карпович удит рыбу. Ивану Карповичу семьдесят три года...

— Здравствуйте, Иван Карпович!

— Здравствуйте...

Старик стоял в реке по колена, в резиновых сапогах. В закопченном чайнике, поставленном на камушек, буруздились подлещики и плотвички.

— Помните, в прошлом году...

— Помню-помню, еще коньячку тогда выпили...

Ну, пойдемте. Я так рыбачу, для удовольствия, для котов. У меня три кота и у дочек моих четыре. Зимой-то я у дочек в поселке живу... — Иван Карпович сматывал удочку и журчал, щebetал.

На реке ударила рыба.

— Это жерех бьет, — сказал рыбак, — щука, голавль — те кругами ходюте, а этот бьет, как палкой... У нас река рыбная — Ловать. По большой-то воде на байдарках ездюте, у берег ткнутья и по суткам живуть, загораюте.

Мы вышли к маленькой речке, впадающей в Ловать, в высоких, как у Ловати, берегах. Иван Карпович прилег грудью на гальку, припал губами к бегущей воде, легко поднялся.

— Вода студеная в ей. Летом студеная, а зимой не замерзает. Места у нас вольные. Весной черемуха цветет, летом липа — воздух такой бывает, любуя больест излечить. Я пчелок держу, двадцать пять домиков. Майский мед наилучший. Ко мне приезжаюте, которые знаюте, и просюте: «Дед, нету ли майского меду?» «Есть, как не быть».

— Рожь нынче хороша, Иван Карпович, — глубликомысленно заметил я.

— Рожь прокормить и дурака, — возразил раковский зимогор. — Бывало, рожь жали на пойме: две бабки — и мера. Деревни стояли уси на виду:

тут Раково, там вон Платки. Теперь усё заросши, что оставши домов, ребята лазають из поселка, рушуть. Как Наполеон ишол...

Иван Карпович вспомнил французского императора, засмеялся и повторил:

— Как Наполеон ишол...

Вообще исконные новгородцы, жихари здешних лесных, полевых, озерных, речных деревень обладают особой исторической памятью. Будто время прозрачно и чисто, как здешний воздух: видать далеко назад. Предания глубокой старины сохраняются в памяти, как иконы в красном углу. Предания помнят бабки. Деда, может быть, помнили бы, но дедов раз-два и обчелся.

Однажды березовская бабка Дуня поведала мне такую бывальщину, из времен литовских нашествий на новгородские земли: «Литва ишла по Ловати, видють, орешки растут. Вот яны давай шшелкать орешки зубами, все зубы пообломали. А тут баба она узьяла орешки от так на ладошки да и растерла...»

Когда шла Литва по Ловати? Всего-то веков пять назад, а то и поболее тому назад. Через сколько же поколений просочилась молва о молодечестве ловатской бабы? Именно бабы!

— ... У меня ночуете, — приглашал Иван Карпович, — завтра по холодку — и с Богом!

Вскоре, в потемках, среди хлама и неюта своей бобыльской избы он потчевал нас простоквашей с медом.

— Я водки выпью, — журчал Иван Карпович, — и сразу медом закусываю. И хорошо, и ладно. А ты, дочка, в сени сходи, там у меня вода принесена с родника. Мед так не поидеть, его надо водой запивать. Молочко мне дочка принесла пять литров, вот скисло, а простоквашу я исть не могу. Кушайте на здоровье. Я молоко люблю. Мне больше ничего и не надо. Я бы водочки маленькую каждый день выпивал. У меня есть денжжата. Дак ведь это что скажут: дед — алкоголик... Пойдем, покурим, сынок. Да ты бери мою, у меня «Север», фабрики Урицкого. А етьи у тебя слабые.

Сели на завалинку. Курим.

— Яблочки, вон, берите, чулановка сладкая, другие какие-то, не знаю. У меня зубов нет. Мне семьдесят три года, сынок. А тебе?

Я сказал, сколько мне.

— Ага, так, так. У меня тоже есть сын, тридцать восьмой яму годочек. И такое у меня с ним горе, он спивши. Он бухгалтером был и такой башковитый: бывало, как где в колхозе составлять годовой отчет, так яво к себе привозють и поють. Годовой отчет не шутка, сынок. Он отчет составляет, а сам пьеть и пьеть. Он когда в школе учился, смекалистый был, все у него четверки, четверки, а когда и пятерки. Уроков не помню чтобы учил. Я ему говорю: «Ты чего не учишь уроков?» А ен мне: «Я, папа, знаю уже». Быстро схватывал. Ен приходит ко мне и говорить: «Если бы, папа, я целый остался, то я бы капитаном

стал, пароход бы водил в разные страны. Или бы в космос летал. А раз так вышло, я буду пить...» Такое несчастье, сынок, случивши... После войны ен запал от гранаты где-то в лесу нашел, ковырял — кисть на левой руке яму оторвавши, глаз выбивши. Как подумаю я об ем, сынок, сердце болит... А дочки у меня хорошо устроивши, в поселке квартиры у них. Я у одной поживу и у другой поживу. Одна за лесником, за хохлом, етот не пьеть. Я яму говорю, зятюто: «Давай по сто грамм». А ён: «Не хочется, папа». Другая-то за шофером. На лесовозе ён, триста пятьдесят-четырееста в месяце имеет, все домой отдаеть. А что на халтурке зашибает — пассажиров возить, у яво кабина четырёхместная, — то пропива-



еть. Иной раз ко мне придеть: «Батя, дай трешку». Я яму дам. У меня есть денжжата. Да память чего-то дырявая стала. Иван Петров горский привез пенсию — у меня двадцать рублей: я в колхозе после войны... Надо бы сходить, говорить, за ранению мне полагается. Ранение тяжелое было, чуть живым оставши. Да вот, куда упрятавши пенсию, не помню. За обои сунул, всю избу облазил, не помню...

Моя семья тем временем отошла ко сну. Устроились, угнездились на вытертой, щуплой, ребристой, скрипучей, как сам хозяин, карпычевой мебели. Едва ли они заснут, мои горожане. А каково им будет в собственной нашей избе, в Березове? Там и такой мебели нет.

Мы сидели с дедом Иваном, подымался полный месяц. Дед журчал без умолку:

— Ён, месяц-то, как народивши, омылси дождями, теперь дождя не будет, месяц зрелый, полный. А как опять рогатый станеть, так и опять омоеться. Тогда грибы пойдуть. Только не знаю... Травой усё заросши, у траве грибу не жизнь. Траву не косьють, земля мхом станеть. Мне бригадир дал заданию,

завтра я покошу делянку. Меня попросят, я покошу. Косы отбиты... Да ты кури мои, фабрики Урицкого. Твои слабые. Я весь прокуривши, две пачки на день не хватают. Ты, сынок, весной приезжай. Вот и семью привози. Какие болести есть, все излечишь. А то лекарства етые одно лечить, другое калечить. Весной тут дух такой бывает: черемуха, травы зацветут — одним воздухом сыт и здоров...

— Спокойной ночи, Иван Карпыч, пойду посплю.

— Поспи, поспи, дорога завтра не ближняя. Комбайнер бы завтра приехал, он бы свез до Березова на машине. За «маленькую» бы свез.

Я лег на дедов диван, того же возраста, что и дед. Иван Карпович помолился Богу у иконки, попричитал, прилег, но сна не дождался, побряхтел, позвал меня:

— Пойдем, покурим.

— Пойдем.

Ручью не положено умолкнуть и ночью. Ручей — чтобы журчать, ворковать.

— Прежде по Ловати баржи гоняли, сынок. На барже был шкипером мой крестный Иван Михайлович Яблоков. Он мне говорит: «Хочешь, Ивашка, пойдем со мной». Я говорю: «Давай». Мне четырнадцать лет, два класса у меня кончены. Больше не учивши, время не было. Да. Ходил, приглядывался: что, как. Подшкипером ходил. И шкипером — по Ловати, по Ильменю, по Волхову в Ладугу и в Питер. Там, в Питере, тоже родственник был, Семен Иванович Рукавицын. Он меня кочегаром устроил, на площади Урицкого я кочегарку топил. Ладно, добро. А там столовая военной академии номер восемь, на Невском проспекте дом номер шесть. Для комсостава, для жен, для детей комсостава. Вот мне Семен Иванович говорит: «Могу, — говорит, — тебя устроить на повара поучиться». Я месячные курсы закончил, стал поварить, в столовой номер восемь, на Невском проспекте. Ладно, добро...

— Спокойной ночи, Иван Карпыч.

— Иди, иди, сынок, спокойной ночи.

Не хотелось ему меня отпускать, не надеялся он, что уснет, нужно было ему еще пожурчать.

А тут как раз и утро. Солнышко взошло, как истопленная где-то там, по ту сторону печь; сразу стало тепло. Еще я затопил летнюю печку Ивана Карповича, под кленом, принес родниковой воды, а дед принес меду. Проснулась моя семья, мы расселись, кто на чем, и с нами кот Васька. Наведались два других кота, ненадолго. Какие-то их ждали свои дела, в лугах и кустарниках.

— Тыи схотятса, — сказал Иван Карпович, — а этот еще молодой, дурачок.

Мы распивали чай под ясным небом, под кленом и слушали, как журчит ручеек.

— Я дома не запираю, кто придет, пусть берет, у меня узять некого. Ружье узяли, я думал у милицию заявить, да ружье-то не зарегистрировано. Думаю, приду у милицию, а у меня спросят, зачем ружье держишь... Я как с войны был пришоццы, мне человека убить все равно что лягушонка. Уси такие были тогда. А теперь нет... У нас у роте пермяк был повар, и вот яму не хватило супу на семерых бойцов, обсчитался. За такие дела под трибунал тада

шли. Вот ён узял да ведро воды у котел и бухнул. Бойцы поели жидкого супу, и у всех получилась болеть, животами зашлись. Командир полка Голубев приезжал, разбирался, отправил яво, пермяка, в штрафную роту... А исть бойцам надо. Вот роту построили, ротный кличеть: «Кто повар?» Трое вышли, и я с ними в ряд. Ротный говорит: «Заходите ко мне в канцелярию». По одному заходили, другие ждали. Меня последнего вызвали. Ротный мне говорит: «Садись, Карпов». Я сел. Он меня спрашивает: «Иде поваром был?» Я говорю: «В Ленинграде, в столовой военной академии номер восемь, для комсостава, жен и детей комсостава, на Невском проспекте дом номер шесть...» Ладно, добро. «Скольки, — он меня спрашивает, — ведер воды, сколько мяса, картошки, круп, чтобы суп сварить на сто человек?» Я яму отвечаю, так и так, поже суп — одна раскладка, погуца — другая. «Скольки, — он меня спрашивает, — пшена, чтобы каши сварить на взвод?» Я яму отвечаю: «Размазню варить — столько и столько, а чтобы ложка в каше стояла торчком, значить, столько». Он меня спрашивает: «Как будешь мясо в суп погружать, всю тушу или делить на порции?» Я отвечаю, что можно и так, и эдак. Он меня спрашивает: «Скольки сухого компоту на душу бойца, чтобы вышел стакан на третье блюдо?» Я яму отвечаю. Он говорит: «Выйди и подожди». Я вышел, бел и сижу, и другие тоже ждуть, что поварами назвались. Ротный выходит и говорит: «Ты, Карпов, будешь поваром». Уж не знаю, чего он у тых спрашивал. Стал поварить. И вот командир полка приезжает, Голубев, на пробу требует пишшу. Потом, мне передали, похвалил. Повар хороший и дух от пишши аппетитный. А у нас кладовщик был яврей. Он дело знать. Чего получше, все нам. Я яво спрашиваю: «Чего ты так для нас стараисси?» А ён говорит: «Я русского солдата люблю. Иному поисте не дашь, он и скиснет, русский солдат не жравши в атаку идет, только злее бывает...»

Ручеек все журчал, без пауз, без перемолчек.

— В Германию вошли, там продуктов завались. Не знаю, откуда у их, склады ломались. Ну, мы Германию, как говорят, ослобонили. На Эльбу вышли — и никакого гулу, никто не стреляет. Нам объясняют: «Тут, по эту сторону, мы Германию ослобонили, а с той стороны Америка, Англия, Франция икупировали. Ни одного немца на своей территории нету. Которые у нас, которые в Америке, Англии, Франции. Войне конец». Робята обрадовались, как дети. В воздух палять, обнимаются. Это значить, живые остались. Нам говорят: «Гуляйте, робята, но чтобы не очень». Старшины глядят: который лишку выпьет, того еще на год служить оставляют...

— Спасибо, Иван Карпович, за чай и за беседу. Пойдем по холодку.

— Идите, идите, робятки, путь дальний. Обратное пойдете, начуйте. Медок у меня есть. Майский мед — самый лечебный. Это надо пчелке спасибо сказать.

— Пчелка прилетит, — сказала моя довольно-таки маленькая дочка, — ты ей поклонись: «Спасибо, пчелка!» — а она тебя в нос укусит.

— Заходите, робятки, — журчал Иван Карпович.

— До осени проживу — и все. Больше жить не буду. В поселок уйду. Робята сюда ездют — архаровцы, дом сожгут. Оная спичка — и сгорить. С пчелками не знаю, что делать. Двадцать пять домиков...

Мы спустились по дороге в лог, а когда поднялись, то увидели Ивана Карповича; он стоял и глядел нам вслед и что-то кричал, но голос его из-за лога доносился к нам, как переливчатое журчание ручейка.

Ручей вот-вот умолкнет, и станет тихо-тихо над Ловатью во ржи. Может быть, тишиной этой наслаждаются идущие берегом или плывущие по зачарованной Ловати люди. Но я всегда буду помнить: здесь был ручей, он журчал — живая душа. Здесь обитал добрый дух, кроткий пасечник, ротный повар, новгородский жихарь Иван. Он щедро потчевал каждого, кто заворачивал к нему в дом без злого умыслу, — не только медом из своих двадцати пяти ульев, но и словом, идущим от сердца. Жил здесь дед Иван, и жива была земля и вода. Не станет Ивана Карповича — и не к кому завернуть; так прямо и топай, из бывшей деревни Раково в бывшую деревню Платки. А там недалеко Осетище, Гора. В единственном доме в деревне Гора, над Ловатью, сидит горский Иван Петров; двери его дома тоже открыты для тебя, и беседу он подсластит медом...

Через месяц мы возвращались домой, той же дорогой, макушкой крутого яра, над Ловатью. Утречком, попрощавшись с Березовым, с приятной нашей изобкой (если б не на службу, то жили бы мы и жили еще), подсластили горечь разлуки липовым медом на горе, у Ивана Петрова.

Уже вечерело, когда мы спустились в лог, с камушка на камушек перепрыгнули через ручей, поднялись полосой сжатой ржи, с замиранием сердца приблизились к жилищу Ивана Карповича: дома ли наш кудесник? Не подался ли к дочкам в поселок — помыться в бане.

— Иван Карпыч! Ау!

Нет ответа. Замок на дверях. И удочки стоят, прислоненные к забору...

Мы стояли над глубоким логом, заросшим ольхой, черемухой, малиной. Желтела дорога. Солнце садилось в лиловое облако. Мы молили Судьбу, Провидение, Рок: «Смилуйся и пошли нам Ивана Карповича!»

Мы понимали, что щедрость Рока не беспредельна, равно как и щедрость деда Ивана. Однажды он явился нам — добрый ангел, посланник Рока, с ивовым удилищем в руках... Дал нам ночлег, накормил, и даже не спросил, кто мы, откуда, зачем.

И ведь никто не спросил, от Чекунова до Березова и далее, в Городне и Блазнихе. Даже соседи наши в Березове и те не спросили. Я видел, им хотелось спросить, но что-то их удерживало. Может, врожденная деликатность (пережиток патриархальности)? И все же...

— Иван Карпови-и-ич! Где Вы? Ау!

Он появился внизу на дороге, как сказочный дед-лесовичок; скрылся в зарослях лещины и неожидан-

но скоро взобрался к нам на крутой склон. Заговорил с нами так, будто беседа наша прервалась не на месяц, а на какую-нибудь минутку:

— ...Пошел грибов поискать, да нету. У скота все вылизано. Скот пасут, ён усякий гриб слизывает...

Я не очень слушал, о чем журчит Иван Карпыч. Ладно, что он журчит. Сразу запахло жизнью. Вскороности зафыркал огонь в летней печке, явились мед, простокваша.

— Господи, Иван Карпович, как хорошо, что вы появились. Мы тут совсем затосковали без вас!

Ночью мне не спалось: пружины в диване Ивана Карповича как будто за месяц еще обособились,



лежать на них было все равно, что на бороне. Да и прохладно. Ладно, в ногах пристроился кот, один из котиков Ивана Карповича, кажется, Васька. Он был хотя и тощий, но теплый, делился со мною теплом. Кот мурлыкал, урчал.

— Ишь ты, — сказал Иван Карпович, — распелся: «Вилы-грабли, ноги зябли...

Хозяин тоже не спал. Он помолился, лег, ворочался, что-то шептал. Ему хотелось поговорить. Спать ему не хотелось.

— Не спите? — спросил Иван Карпович.

— Нет, — откликнулась моя жена. (Я решил отмолчаться: семья устала с дороги).

— Сказочку хотите послушать?

— Хотим, — пискнула дочка.

— Вот ишол солдат со службы, — зажурчал зимогор. Теперь надолго хватит ему журчанья. — Идет... Видить, дом богатый. Кержаки живут. Староверы. Аны богато жили. Ладно. Солдат постучался: «Пустите переночевать». Хозяин вышел, яму говорить: «Я тебя спрашивать буду, а ты отвечай. Пра-

вильный дашь ответ — пушшу, а неправильный — иди своей дорогой». Ну, ладно. Пускает солдата в избу, там лампа зажжена. Ён спрашивает: «Это что?» «Это огонь», — солдат отвечает. «Не так, — хозяин яму говорить. — Это красота». Кошка на лавку прыгнула, морду лапой трет, умывается. «А это что?» — хозяин спрашивает солдата. Тот: «Кошка». «Нет! — хозяин говорить. — Это чистота». Опять не угадал. Что ты будешь делать?! Солдат думает: «Погоди, я тебе тоже загадку задам...» Ладно. Хозяин позволил солдату остаться ночевать. Вот тот утром проснулся, встает — и к печи. Хозяйка уже печь протопивши. Узял он из печи головешку, кошке к хвосту привязал, кошка на чердак побежала. А солдат мешок на плечо закинул, выходить на волю. Хозяин на дворе коня запрягает. Солдат яму говорить: «Чистота красота понесла на высоту. Если не божья благодать, то и дому тебе не видать». Хозяин не понимает, о чем солдат ему говорить. А тут уж и дым повалил из крыши. Дом загорел. Так и сгорел.

Иван Карпович от души посмеялся своей сказочке. И дочь моя, и жена посмеялись над тем, как ушлый солдат обьегорил хозяина-богатея. Хотя...

Потом дочка спросила меня: «Папа, а почему он пустил солдата ночевать, а солдат ему дом поджег?» «Ну, видишь, дочка, — отвечал я с надлежащим глупокомыслием, — хозяин был богатый, а солдат, должно быть, из бедняков; между ними существовало непримиримое классовое противоречие...» «А-а-а,» — сказала дочка.

Может, так оно и было, или что-то еще... Хозяин из кержаков, а солдата учили креститься тремя перстами. Тоже не фунт изюму. И если чему учили солдата на государственной службе, так это жечь, убивать. На то и солдат. Сказка ложь, но в ней намек, добру молодцу урок. Главное, что солдат оказался молодцом, за временное свое поражение сполна рассчитался.

Иван Карпович посмеялся и опять зажурчал:

— Ишол солдат со службы... От он идет по дороге, и с им вместе, туды же идет, попался яврей. Идуть аны, видять, гусь недобитый вадяется. Должно, везли гусей на базар, уронили. Узяли аны гуся, дальше идуть. В деревню пришли, на нчлег просяются. Их хозяйка в избу пустила, аны ей говорить: «Ты гуся ошшипил, изжарь, завтра нам рано в дорожку иттить». Тая говорить, ладно, гуся приготовлю.

Легли аны спать, а не спится, слюнки текуть, с дороги горазд голодные. Думают, как бы скорей до гуся добраться. Яврей был хитрый, ён говорить солдату: «Давай зауснем, кому сон интересный приснится, тот гуся и съест». Уговорились. Лежать. Ладно. Яврей-то не спит, размышляет, какой бы сон придумать поинтересней, чтоб, значить, гусь бы яму достался. А солдат спит, дует в две дырочки. Утром ён первый проснулся, а яврей намаялся за ночь и зауснул. Солдат пошел к печке, гуся достал и съел. Опять спать завалился. Яврей его будить: «Вставай! Мне сон такой интересный приснился. Будто ангели спустились ко мне, под ручки подхватили и в рай понесли...» «Во-во, — солдат говорить, — и я то самое видел. Ангели тебя в рай понесли, я думаю: «Ну, теперь



не возвратится. Из раю не возвращаются... Я гуся и съел».

Посмеялись и над этим смекалистым солдатом и над бедолагой — его спутником. Такая веселая выдалась ночь в избушке Ивана Карповича. Кот у меня в ногах — кот Васька — тоже слушает да мурлычет: «Вилы-грабли, ноги зябли...»

— Може, так оно и было когда, — сказал Иван Карпович, — а, може, и не так. Уж им тысяча лет, этиим сказкам. Народ серый был, непонемчистый...

— Надо бы ваши сказочки, Иван Карпович, записать на магнитофон...

— Не, ня надо. Это грех, — сказал Иван Карпович. — Мои годы такие, нельзя баловством заниматься. Бог этии дела не прощает.

Хозяин покаялся, повинился перед Господом Богом и еще рассказал две сказки. И мы с ним пошли курить. Тут зажурчали другие истории из жизни, бывальщины. Впрочем, журчали они, как сказки, в том же самом регистре...

— Жил Ванька Собакин, у Платках. Их трое братьев было Собакиных, тыи люди как люди, а Ванька мастер был бечь. Подхватится утром и побежить у

Холм, либо у Руссу (от Платков до Старой Руссы ровно сто километров; вот какие были в те времена бегуны на Новгородчине!). Бежить, что на лисапед, земли яму не хватает, так чешеть ногами. Мужики яму стренуться, слово скажут, он только рукой махнеть, не присядеть...

Брат у Ваньки был Колька. Того убили. В шестнадцатом году. Он у Холм поехал на ярмонку, яблоки продавать. Обрато ехать, яво у ручье и подстегли. Лошадь с телегой домой пришла, яво нетути. День нетути, два нетути. Заявили у полицию. Полиция поехала у тот ручей, след тележный обмеряли и конеский след; там две телеги съехавши были. Онная-то Кольки Собакина телега, а другая мужика с Клещины. Яму бы, мужику-то, убить бы Кольку, да на яво телеге улес и свезти. (Ивана Карпыча не было рядом, а то бы дал добрый совет). А ён на своей увез. По следу пошли и тело Колькино разгребли, ветками закидано. Вот приезжают в Клещину два полицейских, в штатском, заходят к этому мужику. Яво дома нет. У бабы спрашивают: «Такого-то можно увидеть?» «А ён у саду яблоки обивает», — баба говорить. — Сейчас придет». Ладно. «Он у Холм ездил такого-то числа?» — у бабы спрашивают. «Ездил, яблоки на ярмонку возил». От аны у хлев пошли, копыта у коня замеряли, ту мерку к им приложили, что у них снята на месте убийства. Мужик приходит, аны на яво револьвер: «Стой! Руки вверх!» Яму куда деться? Связали яво, увезли. Колькин брат Павел за пазуху чушку сунул и у Холм пошел. Дождася, когда яво судить будут, мужика из Клещины, на суд приходить, чушку из-за пазухи вынул и яво по темени стукнул. «Вы, говорить, судите, а раз он нашего брата убил, у нас с им свой счет...

— А где же Ванька-то, марафонец? — хотел я спросить у автора этой новеллы, но не спросил. Автор строил свои новеллы не по законам литературного жанра, а как Бог на душу ему положил.

Под журчанье, бульканье, лопотание ручейка я стал поклевывать носом. Мне захотелось на ребра дивана, к Ваське, коту.

— Спокойной ночи, Иван Карпович.

— Спокойной ночи.

И правда, спокойная вышла ночь, душе в ней было спокойно, уютно, в этой ночи.

Утром Иван Карпович принес большой жбан желтого майского меду. Мед засахарился, стал, как топленое масло. Пасечник резал его ножом и накладывал в банку — для нас.

— На березе листочки вылупятся, у клею, — журчал пасечник, — пчелы с листочков взятки берут... Вы весной приезжайте, когда все у цвету, воздух шибко хороший.

Ну что же, дожить до весны и приехать.

— А вы-то, Иван Карпович, будете здесь на будущий год? Без вас-то здесь и делать нечего. Уж вы поживите еще годик.

— Да и я тоже думаю. Такая здесь благодать... Бросить жалко.

И так мне было жалко расставаться с Иваном Карповичем. Сидел бы с ним и слушал бы его сказки-бывальщины. Вечером бы слушал, а днем бы тра-

ву косил, с дедом на пару. Вон трава какая! И косы у Карпыча отбиты, остры... Если бы да кабы...

— До свидания, Иван Карпович. Спасибо вам, милый человек!

Хозяин посмотрел на меня, на мою жену и дочку. Глаза у него жидкие, как вода, стариковские, слезятся от курева.

— Смотрю я на вас, — сказал Иван Карпович, — давече ишли в Березово люди, у меня ночевали. Вроде, тыи люди, и хозяйка, и девочка, дак с ими был Глеб. Где Глеб-то?

— Я Глеб и есть.

— Да ну? Вот дурья башка!

Жену Иван Карпович узнал и дочку узнал, а меня не узнал. Неужто я так изменился? Месяц пожил в деревне в своей избе, и не узнать. Хочу сказать: изменился к лучшему. Но так нельзя к себе говорить.

В деревне все к лучшему и клонилось. День ото дня становилось мне лучше: рано утром косил траву, слушал журавлей на болоте, глядел на ласточек в небе, как они сражаются с ястребами, побеждают, купался в Ловати и рыбачил, спал на сене, в рядок с женою и дочкой, караулил их сон, близко слышал родное дыхание, рубил дрова, топил русскую печь, варил в чугуне картошку, нюхал луговые цветы, ходил по грибы (ничего не нашел), слушал журчание новгородских бабок, реже — дедов, видел, как стала румяной рябина, сидел на завалинке, читал Лескова, записывал в тетрадь то хорошее, что увидел или подумал, помог цыганскому табору, проходившему мимо: дал недостающий в телеге гвоздь, никуда не рвался, никому не завидовал, ни с кем не враждовал, не возжелал жену ближнего своего (самый ближний женатый Иван Петров отстоял от меня на шесть километров)...

— Это я, Иван Карпович. Я Глеб и есть.

— Ну, ну. Так, так. Ладно, добро. Весной приезжайте. Весной у нас благодать.



ИВАН

ИВАН

ИВАН

ИВАН